

Наука и мировоззрение в свете кризиса переживаемого времени

**Наука и Война в их внешнем и ду-
ховно-внутреннем конфликте**

А. Ф. Котс

**Наука и мировоззрение в свете кризиса переживаемого времени: Наука
и Война в их внешнем и духовно-внутреннем конфликте**

А. Ф. Котс

Посвящение

Своему идейному сотруднику — Н. Н. Ладыгиной-Котс — в знак нераздельности призвания посвящает автор настоящие страницы — этот абрис их совместного стремления на пути конкретно-позитивного обоснования Естественно-Научного Идеализма — этой высшей цели общечеловеческих исканий в борьбе народов и в борьбе мировоззрений.

Содержание

Наука и мировоззрение в свете кризиса переживаемого времени	3
А. Приложения к электронному изданию	21
Выходные данные	21
Подготовка электронного издания	23

Наука и мировоззрение в свете кризиса переживаемого времени

Может быть, впервые за все существование человеческого рода и, бесспорно, в первый раз за всю новейшую историю Европы мы присутствуем при небывалом потрясении духовно-внутренней культуры человечества, переживаем кризис высших ценностей, веками культивировавшихся лучшими людьми обоих полушарий. Истребляются музеи, библиотеки, веками созидавшиеся; уничтожаются произведения искусств, переживавшие века... И это далеко не худшие из потерь — эта подернутая пеплом библиотека Лувена и обугленные стены Реймского собора, ибо спрашивается, кто учтет все те иденные блага и ценности, таланты или дарования на поле мирного служения науке, что погибли для культуры человечества, для его веры и уверенности в силу света, в силу гения.

Достаточно напомнить два примера, два гнетущих по чудовищности заключенных в них противоречий образа: мы видим мистика-поэта, автора «Сокровища смиренных», *Метерлинка*, в пороховом дыму, с оружием в руках; мы видим, как покрытый полувековой славой мыслителя престарелый автор «Мировых загадок», *Геккель*, выступает с небывалым для истории научной мысли предложением распространить проснувшуюся национальную вражду и рознь на зарубежных представителей науки и искусств.

И вот, перед лицом такого полного смещения всего, что связывалось с представлением о могуществе героев мысли и непреходящности их идеалов, естественно спросить себя: возможно ли в переживаемую нами пору говорить об интенсивной и сосредоточенной работе в области научной мысли? Имеем ли мы право погружаться в изучение наук под сенью аудиторий в то время, как внимание родины с тревогой обращено туда, где под нависшими пороховыми тучами страна несет свои неслыханные жертвы? Не должны ли мы, оставшиеся на местах, всю силу нашего ума и воли обратить на дело непосредственной активной помощи тем жертвам, отложив до другого времени призыв к науке и её служению?

Итак, вопрос об *оправдании науки* в эту исключительную пору, о значении её, как фактора культуры — такова задача, рассмотрению которой мы и посвящаем нижеследующие строки.

На первый взгляд задача наша кажется неутешительной, особенно у нас, в России, где в широкой массе образованного общества вопросы чистого, неприкладного знания и без того не привлекали на себя достойного внимания. Это заметное, особенно вдали от центров, недостаточное понимание вопросов и задач идейно-внутренней культуры, как известно, было только частным отражением того духовного упадка и уныния, которые, воспетые когда-то нашим Чеховым, на целые десять лет успели пережить своего певца.

«Исчезли прежние уныние и неспособность посвятить себя *высокому и вечному*; явилась цель, открылся смысл жизни, место приложения энергии, не находившей для себя дотоле применения» — как часто в разговорах и в печати за последние полгода приходилось слышать возгласы или признания такого рода.

И перед лицом такого несомненного подъема жизни и самосознания общества естественно явиться опасению: уместно ли от этого живого понимания очередной практической задачи жизни, захватившего с такой силой и горячностью различные круги нашего общества, уместно ли опять переводить внимание его на область отвлеченного служения рассудочно-холодным истинам научного познания?

Едва ли нужно говорить, что в дни, когда страна сплотилась в скорбном волевом порыве помощи несчетным жертвам мирового бедствия, нет того голоса, который смог бы выступить с призывом, с предложением, могущим косвенно клониться к умалению этой помощи; да вряд ли есть и основание предполагать, чтобы в такую пору что-нибудь могло бы умалить или умерить её силу, её всепоглощающую роль.

Как организм, вынужденный побороть следы полученного поранения, смотря по ходу заживления, привлекает новые, нетронутые участки тела для борьбы с болезнью, так и внутри страны удары, наносимые извне, будут захватывать все новые, нетронутые кадры лиц для оказания помощи и ослабления последствий приносимых жертв.

Это давнишнее сравнение государства с индивидуальным организмом представляется банальным, тем не менее, уместно будет провести его немного далее. И в самом деле, как бы ни была упорна и обострена борьба больного с налетевшим на него недугом, совершенно ясно, что борьба эта является лишь средством, но

не целью. Даже более того, исход болезни, полнота выздоровления будет всего более определяться тем, насколько по выздоровлении больной способен возвратиться к прерванному временно призванию и в наивысшей его форме. Совершенно также только временной является для нашей родины нахлынувшая буря. Неминуемо по прекращении её восстанет пред страной вопрос: насколько пережитые страной бедствия задели высшие источники и стимулы её культурного развития? Насколько сохранилось в обществе широкое живое понимание науки и её культурной силы и значения?

Нетрудно видеть, что ближайшая попытка предрешения вопроса этого наводит на сомнения.

Прежде всего, есть опасение, что после окончания войны, точнее, с оправлением страны от понесенных жертв, обширные слои нашего общества лишатся того самого, что неожиданно от повседневных будничных забот призвало их к служению стране в самой возвышенной, порой подвижнической форме. Пронесется ураган войны, и те, которым нужно было это мировое бедствие, чтобы встряхнуть с себя духовную усталость и безверие в себя и в смысл жизни, эти глубоко безвольные вчера и полные энергии сегодня, лица, не умевшие идейно жить и умирающие за идею нынче, вместе с прекращением войны, по ликвидации её последствий, потеряют импульс, двигатель идейной жизни, и в духовном отношении многие из них опять окажутся без места и без дела. Можно думать, что познавшие широкое служение обществу и убедившиеся в своих силах и по водворении мира изберут достойное себе призвание. Сомнительно, чтобы узнавшие активную, горячую, не требующую оправдания работу боевого времени по миновании его нашли отраду, удовлетворение в холодных сферах чистого, неприкладного знания, конечные задачи и действительное назначение которого таят так много спорного и для самих ученых.

Это что касается надежд на привлечение в будущем новых деятелей в неизвестной им дотоле области науки. Переходим к нынешним, уже определившимся её адептам, думающим отложить до более спокойных дней свои научные запросы и влечения.

В этой естественной и мало значащей на первый взгляд отсрочке, или промедлении, для будущего состояния культурного развития страны таится также несомненная опасность. И это станет совершенно ясно, если мы еще раз обратимся к столь известной аналогии.

Как в организме остановка деятельности отдельных органов способна привести их к полному упадку и деградации, особенно заметным в отношении высшей формы органической работы — совершенно также в государстве замедление и упадок деятельности его научных центров, этих высших импульсов или источников культурного развития, никогда не остается безнаказанным. А тем, которые, быть может, в оправдание сошлются на теперешние исключительные внешние условия, возможно привести свидетельство истории, когда почти три четверти столетия тому назад в разгар Июльской революции в Парижской Академии Наук торжественное заседание решало спор двух выдающихся натуралистов по научному вопросу, отстоявшему так бесконечно далеко от развернувшихся в стране событий. Подобных исторических примеров можно было бы представить бесконечно много. Обращаемся к другому аргументу — к данным психологии.

Известно основное, бессознательно проверенное большинством из нас, психологическое правило, гласящее: «лишь то, чему мы выучились до определенных лет, является для нас действительной основой знания на все последующее время». Выражаясь иначе, у большинства людей на практике этот запас идей и составляет весь их умственный багаж на остальное время жизни... «Только то, чему мы выучились в годы максимальной восприимчивости, будет пребывать для нас явлением привычным. Только в отношении таких привычных образов, идей и мыслей постоянно сохранится чувство близкого знакомства и сознание власти над предметом...» Ограниченность периода восприимчивости — грустное, но верное психологическое правило, которое, по выражению *Джемса*, убеждая в ограниченности умственных способностей, должно бы вызвать большую сосредоточенность характера.

Сопоставляя данные истории и психологии, сводя в одно все то, что было сказано о видах на судьбу идейно-внутренней культуры родины, задетой мировым пожаром — мы приходим к следующему выводу. Из массы лиц, что прямо или косвенно захвачены теперь тушением этого пожара, по прекращении его лишь небольшая часть сумеет взяться за очередную миссию — раздуть оставшиеся искры чистого научного познания. Вот почему на тех, которых небывалые события застигли в аудиториях, лежит священная задача поддержать значение и понимание идейно-внутренней работы мысли до тех пор, когда на смену языка орудий снова выступит язык духовного общения.

От состояния образования в эти исключительные дни будет зависеть поддержать, упрочить, закрепить за нашей родиной признание не одной физической, но и духовной мощи. Допустить обратное и ничего не

сделать, чтобы умалить, ослабить нашу интеллектуальную зависимость и подчинение соседней нации — едва ли это будет соответствовать размерам ныне приносимых жертв.

Однако, как ни своевременна и ни заманчива мысль о возможности духовного реванша, о победе разума и интеллекта после ожидаемой победы пороха и крови — надо помнить, что действительное понимание задач идейно-внутренней культуры человечества несовместимо со стремлением к идейному владычеству и власти, со внесением в науку национальной розни и соревнования. Слова эти должны замолкнуть там, где речь идет о высших ценностях и достояниях человеческого духа, уступая место представлению о единой Истине, не ведающей «ни эллина, ни иудея». Только в этом смысле можно призывать к участию в поддержке и восстановлении работы в сфере чистого, неприкладного знания, как средства и пути к господству разума и света.

Но с неодолимой силой возникает здесь гнетущий по своей жестокости вопрос: возможно ли серьезно говорить о ценности и о значении науки и культуры в дни, когда культурнейшей дотоле нацией сметаются хранилища научной мысли? И откуда брать уверенность в грядущее господство Разума и в примиряющую роль единой Истины, когда в Германии вчерашние её апостолы бросают вызов зарубежным представителям науки? И когда среди служителей её, метнувших пламя национальной розни в область мирного научного искания, мы видим величавый образ иенского ученого, посеребрянного сединами в борьбе за истину и право?

Итак, вопрос об оправдании науки, о её значении и роли в этих развернувшихся событиях — такова задача, рассмотрению которой мы и посвятим последующее изложение.

Да и в самом деле: перед нами скорбная, гнетущая попытка выдающихся умов Германии заградить собою зарево пылающего Реймса и Лувена. Мы услышали призыв руководителей германской мысли к расторжению духовной связи, что веками спланивала внутренне-идейный строй культуры Запада. И вот, учитывая положение, которое в ряду других народов занимала издавна страна поэтов и мыслителей, мы в праве констатировать падение великого оплота Европейской мысли, поражение более тяжелое, чем взятие Мобежа и Антверпена. И как падение твердыни Бельгии есть тема для расследования в сфере крепостного дела, так и для деятелей в сфере чистого, неприкладного знания является обязанностью уяснить себе причины неожиданной капитуляции твердыни человеческого разума.

Мы вовсе не имеем здесь в виду касаться обстоятельств, или поводов, приведших к этой мировой войне — это задача будущих историков, работа непосильная для одного лица, как платонической являлась бы надежда на её практические результаты.

Ограничимся одной лишь стороной переживаемого кризиса: *конфликта чистого, неприкладного знания с жестокой действительностью мирового бедствия*. Потребность выяснения этого вопроса вызывается не только чувством скорби и обиды за отчизну Шиллера и Гёте; в еще большей степени диктуется она реальной заботой — приложить все меры к ослаблению того парализующего действия, которое способна оказать на общество, и в частности на приступающих к науке, мысль, что наука эта в дни действительного испытания не в силах удержать падение даже выдающихся умов и образованнейшей нации.

Итак, вопрос об истинной идейной ценности науки, о причинах, обусловивших её духовное бессилие, и о путях, могущих возратить поколебавшуюся веру в её высшее призвание. Посмотрим же, насколько нам удастся подойти к решению этого глубоко-современного и жгучего вопроса.

Очевидно, что ближайшая задача наша — обозначить несколько точнее поле предстоящего исследования. И в самом деле. Даже ограничиваясь сферой *чистого* идейного познания, нетрудно видеть, что пределы относящихся сюда наук так бесконечно велики, а содержание их так глубоко неодинаково, что укорять *in toto*, целиком, всю зиждящуюся на них культуру было бы настолько же бесплодно, как и апеллировать к её желательному возрождению в целом. Получились бы собрания общих фраз и общие места. Во избежание этого мы поступаем так: переберем главнейшие отделы и подразделения наук, чтоб чрез сравнение их определить степень ответственности каждой за переживаемый духовный кризис, как и относительную их пригодность в деле возрождения идейной общности культуры человечества.

Начнем с основного разделения, только отчасти проведенного и в нашей высшей школе, различения двух основных отделов человеческого знания: *гуманитарно-исторического* и *естественно-научного*. Условное со стороны объема и по содержанию, непроводимое со всею строгостью на практике, деление это можно оправдать в принципе, методологически.

Есть два пути, два метода познания окружающего мира. Один, который направляет ум на общее и неизменное и отрешается от индивидуального; другой, который выдвигает ценность этого последнего, стараясь в нем найти искомые закономерности. Путь первый избирается натуралистами при отыскании законов космоса с их вечным возвращением; второй принадлежит историкам, содействуя раскрытию закономерностей того, что никогда не повторяется.

Как ни обща предложенная схема и характеристика различий методов естественно-научных и гуманитарных знаний — её достаточно для наших целей. В самом деле, как естественно напрашивается теперь вопрос, которому из двух отделов человеческого знания принадлежит решающая роль в вопросах интернационального общения людей и обществ? На которую из них прежде всего нам возложить ответственность за то духовное бессилие, в котором в дни великих испытаний оказалась образованнейшая страна в лице её великих корифеев? На которую нам всего больше возлагать надежды в будущем? На ту ли, что поставила своим девизом вечные, слепые и бездушные законы, чуждые пространства, времени и всякой индивидуализации, или на ту, которой лозунг преходящий, но живой, конкретный индивидуум с определенным местом и моментом в мировой истории?

На первый взгляд могло бы показаться, что решение вопроса этого не представляет затруднений, что ответ как будто предрешен заранее. В каком ином отделе человеческого знания искать причины поступательства законами гуманности, как не в науках, именуемых гуманитарными. К руководительству кого же обращаться обществу во дни тяжелых испытаний, если не к историкам, знакомым с судьбами минувшего страны и нации, не к бытописцам, истолковывающим её духовный пульс и веяния в настоящем, не к поэтам, призывающим к одетым в тайну ритма и художественных образов возможным идеалам будущего?

Тем сильнее будет разочарование, которое сторонникам гуманитарного образования принесет последующее рассуждение, имеющее показать, как глубоко условно и как относительно значение успехов историко-литературной сферы человеческого творчества в годину тяжких испытаний целого народа.

Всего легче это удастся доказать по отношению к истории. Можно уверенно сказать, что ссылками на исторические факты и примеры никогда и ничего не достигалось; что события истории идут своим порядком, никогда не повторяясь. «Куда ведет» — так спрашивал в начале первой четверти минувшего столетия *Дюбуа-Реймон* — «куда ведет дорога мировой истории? Дорога, пролегающая через море крови и потоки слез... Возможно ли усматривать в истории видимый прогресс, который был бы обусловлен силами, господствующими в ней самой?.. Становятся ли короли мудрее — умереннее их народы? Не кажется ли, напротив, что сама история лишь для того, чтобы учиться из неё тому, что от неё никто и ничему не научается? Достигнуты ли человечеством в уверенном прогрессе высшие ступени в отношении свободы, нравственности, знания и благоденствия?..»

Так спрашивал когда-то *Дюбуа-Реймон*, и он не ошибался, дав свой отрицательный, суровый приговор. Что это так — за это говорит теперяшняя неуместность и самих вопросов: *в наши дни вопросы эти прозвучали бы насмешкой.*

И нетрудно указать причину этого бессилия морали, доставляемой историей. Причина эта, думается, та, что для любой страны история её есть национальнейшее достояние её и первая ближайшая духовно-внутренняя связь, способная объединить самые резкие различия сословий и народностей. Но, являясь самой могущественной спайкой между населением единой нации, история её для неё самой всегда рисуется односторонне, преломляясь через грани, налагаемые тем неуловимым строем образов, переживаний или чувств, которые, воспринятые в годы ранней юности и детства, несравненно более сродняют нас с определённой страной, чем все позднейшие реальные расчеты и соображения политико-экономического свойства.

Это неизбежное внесение эмоционального начала в наши отношения к истории *своей* страны и составляет тот иррациональный фактор, что не позволяет исторической науке отрешиться от глубоко-субъективного критерия в оценке исторических событий или их руководящих лиц. Достаточно прочесть любой отрывок по истории какой-либо страны, составленный отечественным автором, и тот же исторический момент по описанию чужеземного историка, и можно ужаснуться степени разноречивости обоих. Но возьмем примеры. Ведь никто не станет уверять, что искренность, правдивость, прямота — суть добродетели, которым поучаться подрастающее поколение может всего лучше, обратившись к дипломатам. И не станут также утверждать, что величайший дипломат минувшего столетия, что первый канцлер Гогенцоллернов не наделен был исключительным дипломатическим талантом. Между тем, среди бесчисленных биографов, которых вдохновил «железный канцлер», можно указать на автора издания, озаглавленного «*Bismarck, als Erzieher*» («Бисмарк-воспитатель»). Но возьмем другой пример, теснее связанный с неоднократно уже

приведенным именем. Восторженный поклонник Бисмарка — Эрнст Геккель, на торжественном собрании видных представителей науки в Иенском Университете пользуется посещением его железным канцлером, чтобы приветствовать в последнем величайшего «психолога», сумевшего объединить разрозненные части нации, великого практического знатока людей, «этнографа» и «антрополога»... Конечно, «Бисмарк-воспитатель», «Бисмарк-антрополог» — сочетания, мыслимые лишь в устах германских патриотов. Но нельзя же и не согласиться, что создатель мировой державы, воплотивший вековые чаяния германского народа, в представлении последнего рисуется иначе, чем в глазах народов остальной Европы, вынужденных ныне дорогой ценой искупать всю тяжесть следствий «антропологических» приемов Бисмарка.

Мы преднамеренно остановились несколько подробнее на приведенных только что примерах, чтобы показать как субъективно и односторонне понимаются у разных наций даже величайшие события и их виднейшие руководители. И это априорное, и полное бессилие исторических наук возвыситься до абсолютно-объективного критерия, эта теснейшая зависимость от долготы и широты страны, от национальных или политических границ и интересов — делают излишним возлагать на исторические дисциплины полную ответственность за наблюдаемое ныне преступание вненациональных, общечеловеческих заветов — тех, которые одни способны поддержать людей и общество в години личных горестей и национальных бедствий.

Переходим к следующей области гуманитарных знаний — к области литературы, к сфере поэтического творчества.

Нетрудно видеть, что и здесь условия для создания вненациональных связей человечества на практике весьма неблагоприятны. После исторических наук литературу данного народа справедливо должно почитать за самую действительную *интранациональную* духовно-внутреннюю связь страны и нации. Что это так, за это говорит та полная безвестность или, что гораздо убедительнее, полное непонимание, в котором и поныне пребывают в Западной Европе национальнейшие русские писатели (напомним лишь о Пушкине, о Лермонтове, Гоголе и Чехове). И если в отношении Толстого, как писателя, и в отношении Тургенева Европа оказалась более внимательной, то до известной меры это объяснялось необычным для неё суровым, беспощадным отрицанием культуры Запада у первого и преданным, любовным отношением к ней второго.

И не надо думать, что своеобразие русского уклада жизни или строя речи были единственно ответственны за отчуждение Запада к поэтам и писателям России. Недостаточность такого взгляда явствует из следующей параллели. Стоит только сопоставить одного из *национальных* романистов Англии, хотя бы *Диккенса*, с виднейшим *интернациональнейшим* поэтом, с гением *Шекспира*, в понимании самой же Англии. Талантливый изобразитель собственно английской жизни хорошо известен в Англии любому школьнику. Для гения, раскрывшего для мира необъятные глубины общечеловеческих переживаний, страна Шекспира оказалась злою мачехой, отдавшей своего великого писателя на поклонение континентальным нациям, как будто во избежание позора слышать монологи Гамлета и Лира вперемешку с лаем дрессированных собак, успешно выступающих на сценах лондонских театров вместе с наезжающими балеринами и скомо-рохами.

Но переведемте взгляды на Германию, к её литературе. Мы и здесь находим только подтверждение сделанного вывода о том, что *степень понимания писателя в родной стране и ценность его творчества, как интранационального объединяющего стимула, находятся в обратном отношении к широте размаха общечеловеческих его исканий*. Достаточно сравнить обоих Веймарских поэтов, или обе части величайшего произведения старшего из них. По крайней мере, для того, кому десяток лет тому назад пришлось в различных городах Германии быть очевидцем и свидетелем торжественного юбилея *Шиллера* невольно приходилось убеждаться в том, насколько автор *Валленштейна*, гуманист и кантианец *Шиллер*, ближе пониманию средне-образованного немца, чем создатель *Ифигении* и *Фауста*, олимпиец *Гёте*, этот Аристотель и Софокл Веймара, *Гёте* так проникновенно понятый в одном из писем Шиллера, писавшего своему другу: «Вашей родиной должна бы быть Эллада! Зачем Вы не родились в древней Греции?»

И напрасно стали бы ссылаться на бесспорно величайшее создание Гётевского творчества, на *Фауста*, настолько хорошо известного, что было время — правда далеко от нашего — когда, по выражению одного писателя, считалось признаком литературного безвкусыя цитировать в Германии отдельные места из первой его части: в такой степени в то время всякая цитата Фауста представлялась загнанной, заезженной. Правда, это время, по признанию того же автора, восходит далеко назад; сейчас оно, конечно, дальше, чем когда-либо. Но знаменательно, что даже в пору наибольшего культурного влияния Гётевского Фауста сказанное только что о степени известности его в Германии касалось только *первой* части гениального

творения. Понятно, если средне-образованному немцу в Фаусте всего больше говорило то, что претворяло облик и искания *немецкого* ученого на фоне и в отражении *немецкого* уклада жизни. Вероятно также, что такому выдвиганию бытовых и национальных элементов Фаустовской трагедии не мало поспособствовало и кощунственное воплощение её на сцене, легкомыслие, с которым беспредельные глубины Гётевского Фауста заменялись оперным сюжетом. Каковы бы ни были однако обстоятельства, содействовавшие широкой популяризации всей первой части Гётевского Фауста, от этого условного успеха и распространения её судьба уберегла *вторую* часть бессмертного творения, ту именно, в которой отразились *общечеловеческие* идеалы и искания его героя и творца. Одета в мистическую пелену глубоких сокровенных символов, эта вторая часть настолько же идейно превосходит первую, насколько содержание последней превосходит ту бесхитростную средневековую фабулу, которая положена в основу целого. Эта последняя, можно уверенно сказать, одна нашла себе признание на сцене и в широкой массе общества и за пределами Германии. Напротив, непонятная для средне-образованного немца, спорная у критиков, вторая половина Фауста всего менее содействовала усилению духовного общения с Германской литературой и немецким обществом, как таковым.

Подтверждая основное полодение, к которому нас привели все приведенные примеры и сопоставления, мы можем указать, что *истинную ценность историческо-литературной сферы знания всего бесспорнее определить значением её, как интра-национальной, внутренней, идейной связи для страны и нации*. Что, как бы ни были заманчивы и возвышающи в теории, в эпоху мирного общения народов, идеалы и идеи *мировой* литературы, *мировой* истории, на практике, в дни обострения национального самосознания страны и общества, те и другие неминуемо уступят перед менее широким, но живым и жизненным, активным пониманием страной *своей* истории, *своей* литературы.

Но если не история, как таковая, если не история литературы суть объединители действительной истории человечества; если от области гуманитарных знаний, в силу самой их гуманитарности, неотделимости их от индивидуально-субъективного и слишком человеческого, невозможно требовать, чтобы в решительный момент, трудную минуту для лица и общества они возвысились до *общечеловеческих* и *выше-человеческих* воззрений или идеалов — то нам остается перейти к другому подотделу человеческого знания, к *естественным наукам и естественно-научным методам*, ведущим разум к познанию того, что выше субъективно-индивидуального.

И в самом деле, *интернациональное* значение естественных наук на первый взгляд является высоко очевидным. Как в свое время справедливо было сказано: «Вольтер мог находить Шекспира отвратительным, но он не мог не преклоняться перед Ньютоном». И совершенно также Запад может игнорировать и Грибоедова, и Гоголя, и Гончарова — тот же Запад вынужден считаться с Мечниковым, Менделеевым. И нам легко понять причины интернационального признания великих деятелей в области Естествознания: ведь речь идет о создателях вненациональных, общечеловеческих идей и ценностей.

Это значение Естествознания, как решающего фактора и стимула вненациональной, общечеловеческой культуры, никогда, быть может, не имело более вдохновенного защитника, чем автора «Семи Мировых Загадок» — *Дюбуа-Реймона*. Послушаем же этого виднейшего апологета современного естественно-научного прогресса и основанной на нем культуры человечества.

«Историей последнего», так утверждает Дюбуа-Реймон, «является история Естествознания, которая одна лишь есть действительный и абсолютный орган человеческой культуры». «Лишь благодаря познанию природы человек стал современным повелителем её, который», по картинному изображению Дюбуа-Реймона, «путешествует посредством пара, пишет молнией, рисует солнечным лучом». «Еще не найден камень мудрости алхимиков», так сознается Дюбуа-Реймон и добавляет: «может быть, что завтра им и овладеет химия, а до тех пор последняя соперничает с органической природой в создании полезного и приятного».

И вот, как подтверждение этого, мы далее находим у того же автора восторженный блестящий перечень успехов и побед технического гения. Упоминается и получение красок из зловонных черных отходов при производстве нефти, красок, что соперничают с красотой и блеском экзотического мира; добывание благовоний без участия цветов и солнца; упомянуты распознавание ядов и бессилие преступника сокрыть следы содеянного злодеяния; и ангел смерти, скованный победой человечества над эпидемиями; восхваляется и действие хлорала, ниспускающего Бога Сна на самые измученные души, превозносится и хлороформ, способный пренебречь проклятиями Библии...

Не менее знаменательным является, по мнению Дюбуа-Реймона, тот переворот, которым мы обязаны Естествознанию в сфере интеллектуального прогресса человечества.

«Естествознание, совлекшее над головами нашими давившую дотоле пелену физического небосвода, не оно ли и духовно освободило нас? На место прежнего чудесного — оно поставило закон; как перед занимающимся днем померкли призраки и духи... сломилось суеверие средневековья, погасли костры еретиков и ведьм. Одно Естествознание поставило границы спекуляции и умозрению и научило с высоты всеподчиняющего скепсиса смотреть с бесстрашием на пределы нашего познания. И в этих сферах чистого, возвышенного знания как дышится свободно и легко! Как еле слышны для духовно-внутреннего уха доносящиеся с земных низин немолчный гомон суетной толпы и жалобы затронутого честолюбия, и боевой призыв народов...»

«Исполнилось — по мнению Дюбуа-Реймона — слово, брошенное Бэконом в неведомую даль веков, культуре будущего: „Знание есть сила“. И народы всей Европы, Старый, как и Новый Свет, соперничают в этом направлении». «И если есть признак, по которому единолично можно было бы судить об истинном прогрессе человечества, то его должно видеть в степени господства человека над природой». «Не искусство способно защитить цивилизацию от новой гибели; со всем своим велоколепием искусство, как уже неоднократно случалось, оказалось бы бессильно защитить цивилизацию, не даровало бы Естествознание существованию её такой уверенности, о причинах какой мы даже и не думаем». И эта абсолютная уверенность, с которой Естествознание навеки защищает культуру от посягновения извне, должна в глазах того же автора содействовать и примирению с мыслью, что и для технического гения имеются пределы: ибо «вряд ли человечество когда-нибудь сумеет в подражание птичьему полету овладеть воздушной стихией!»

Так писал когда-то Дюбуа-Реймон. И к счастью своему он не дожил до 1914 года. В противном случае он был бы вынужден признать свою тройную и жестокую ошибку.

Он увидел бы реально сбывшейся мечту, когда-то неосуществимую — надежду современников его на овладение воздушной стихией. Он услышал бы победное жужжание аэропланов, реющих по воздуху, взмывающих в эту недавно покоренную стихию для того, чтобы с физических высот метать на землю смерть и разрушение.

И далее, он увидел бы, как наряду с этим «последним словом» восхваляемой им техники и остальные, столь превозносившиеся им успехи в области технического знания с утонченной планомерностью в руках *родной страны* обращены на дело истребления святилищ мирного, культурного служения, как высшей формы той прославленной культуры Запада, хранение которой Дюбуа-Реймон напрасно доверял могуществу технического гения. Это могущество обрушилось само на себя и в неожиданном падении дало увлечь с собой и стоявшую за ним *идейную* культуру, и надежды, что когда-то возлагались на нее её восторженным апологетом.

И в самом деле. Доживи последний до теперешнего Реймса и Лувена, до теперешнего состояния Бельгии, куда девалась бы его уверенность в извечную и абсолютную упроченность цивилизации, основанной на приложении естественно-научного прогресса человечества? И что осталось от другого утверждения того же автора касательно идейной ценности естественно-научного образования, того заносчиво и горделиво брошенного уверения в том, что до возвышенных духовных сфер естественно-научного познания не долетает суета земного мира. В *родной стране* он видел бы, как представители восторженно воспетой им науки всеми силами стремятся перекинуть в горния вершины чистого идейного искания и ненависть толпы, и честолюбие её руководителей. Ни с материальной, ни с духовной стороны естественно-научная культура Запада не оправдала предсказаний своего красноречивого апостола. В угаре националистического ослепления и национальных распрей и вражды Естествознание оказалось столь же мало призванным умерить первое и примирить вторые, как бессильными же оказались идеалы и заветы в области гуманитарных знаний.

И однако же, усматривая ценность и значение последнего, как *интранационального* по преимуществу; учитывая невозможность для истории и для литературы отрешиться от внесения субъективного начала; принимая во внимание и то, что ценные в эпоху мирного культурного развития литература и история, как национальнейшие достояния страны, в дни обострения национального самосознания её способны лишь повысить национальную и расовую обособленность; принявши во внимание все эти недостатки или слабости гуманитарных знаний, мы едва ли вправе требовать от них того, что органически заведомо им чуждо: *полного освобождения от национально-расовых особенностей в понимании задач и целей общечеловеческих идей и идеалов*.

И с тем большим правом требование это можно предъявить к *естественно-научной* сфере человеческого знания, заведомо свободной от внесения расовых и национальных элементов в понимание своих задач.

И если верно, что успехами Естествознания современная культура Запада приобрела свой настоящий материальный и духовный облик; если правильно воззрение, по которому минувший век есть «Век Естествознания», в отличие от XVIII века — «Века Гуманизма» и широких рационалистических исканий; если правда, что последствия переоценки силы и могущества рационализма XVIII века разрешались на развалинах Москвы 12-го года, — то не представляется ли вероятной мысль, что и сами мы сейчас присутствуем при роковой развязке, или ликвидации наследия минувшего столетия, односторонне и превратно понятой естественно-научной, натуралистической культуры и цивилизации?

Естествознание, так гордо окрестившее собою все минувшее столетие и так всецело захватившее внимание мыслителей, подобных Дюбуа-Реймону, не его ли всего прежде следует привлечь к ответу за духовное бессилие, в котором в дни великих потрясений оказалась образованнейшая страна в лице её великих корифеев?

Мы присутствуем при небывалом кризисе духовно-внутренней культуры западной Европы, в столкновении её с неслыханными ужасами мировой войны. Еще никто не может предрешить её конечного исхода. И однако, можно с достоверностью сказать, что как бы ни сложились *материальные* успехи или неуспехи для воюющих, *духовный* урон и поражение культуры Запада уже достаточно определились. Это стало очевидным с того времени, когда германские орудия явили посягательство на мирные хранилища научной мысли, а германские ученые — на высшее призвание науки, как свободного от национальной розни поля общечеловеческого творчества.

Порвалась та идейно-внутренняя связь, которой, наперекор превратностям истории, держалось единство западной культуры: затуманилось сознание стоящего превыше национальных распрей назначения науки, неприкосновенности её хранилищ, неподкупности её апостолов. И этот неожиданный разрыв среди работавших вчера еще на поле мирного служения человечеству, этот разлад среди его руководителей, нигде не ощущается с такой болью, как в Естествознании.

Причина этого уже указывалась ранее. Мы разумеем искони присущие Естествознанию и право, и способность развиваться при условии большей объективности исследования, чем то возможно для наук гуманитарно-исторических. И как мы видели, различие это всего прежде вызывается неодинаковостью содержания двух основных отделов человеческого знания. В одном — бесстрастная и вечно-величавая Природа, равная для всех и призывающая к столь же объективному, спокойному и беспристрастному познанию её неумолимого могущества; в другом — мир человеческих страстей и непредвиденно капризной смены вытекающих из них подъемов и падений, так естественно ведущих ко внесению условного, пристрастного и субъективного и в дело их оценки или понимания.

Являясь более независимым от *лично-субъективного*, сравнительно с гуманитарными науками, Естествознание еще в гораздо большей степени свободно и от *национального субъективизма*.

Так — если перейти к конкретному примеру — в качестве сынов России мы не можем не гордиться русской школой химиков, которую оставил *Бутлеров*; не можем не скорбеть о вынужденном оставлении высшей школы *Менделеевым*; не сожалеть об оставлении *Мечниковым* и самой России. *Как натуралисты, мы теряем право этой гордости и сожаления*. Перед универсальностью «Теории Фагоцитоза», «Периодической Системы» и «Теории Строения» тускнеют национальные черты их авторов; теряется и смысл, и желание сокровища, снесенные на мировой алтарь идейного познания, оценивать сквозь призму национального самосознания. И столь же чуждой пониманию натуралиста, оскорбительной для широты стоящей за словесным выражением идеи, являлась бы попытка закрепить естественно-научные открытия на языке, родном для его автора.

Так, возвращаясь к прежнему примеру, можно сожалеть о русском университете, потерявшем за уходом Мечникова гениального ученого, который при других условиях привел бы к основанию особой русской школы биологии. Естествознание никогда не будет сожалеть о том, что плодотворные идеи русского ученого науки Запада раскрылись не в России, не на русском языке. С этим, воспетым нашим задушевнейшим писателем, «великим и могучим, и правдивым, и свободным русским языком» Естествознание бессильно было бы осуществить свое международное призвание. И тем ответственнее положение языка и нации, которым выпала на долю миссия посредников и выразителей такого интернационального общения. Тем тяжелее долг, который принял на себя ученый мир Германии. Достаточно припомнить исчисляемые сотнями

немецкие естественно-научные журналы с тысячами ежегодно издаваемых работ, написанных под самыми различными широтами; достаточно перелистать немногие страницы одного из этих издаваемых в Берлине или Лейпциге журналов, чтобы увидеть такую экстенсивность и такое оживление научного общения, о котором представители гуманитарных знаний даже и не думают; достаточно взглянуть на пестрый, космополитический состав сотрудников указанных изданий, чтобы оценить значение естественных наук, как *интернациональнейшей арены человеческого творчества*, и роль немецкой речи, как его посредника и выразителя.

Естествознание, которому столь многое дано в эпоху мирного культурного развития, как средству и орудии вненационального духовного общения — с Естествознания и больше спросится в моменты испытания и кризиса.

Вот почему мы вправе обратиться с обвинением к естественным наукам или их германским представителям. Вот почему мы спрашиваем: как могло случиться, что последствия, что результаты векового мирного идейно-внутреннего единения народов так бесславно сметены в порыве националистического ослепления? Как объяснить, что незатейливая песня, сложенная Фризским стихотворцем, эта столь невинная дотолы «Deutschland, Deutschland über Alles», вынудила замолчать не только Гёте-Вертера, но Гёте, как творца «Метаморфозы», как универсального мыслителя? И как могло произойти, что первый из естествоиспытателей, так вдохновенно оценивший Гёте, как натуралиста — *Геккель*, оказался вместе с тем и первым, подписавшим исторический протест, раскрывший единение германского меча и мысли?

Что осталось от взаимного общения великой армии натуралистов, так охотно прибегавших к помощи немецкой речи? И куда девалась их *духовно-внутренняя связь*, стоявшая за общностью языка и книги?

Да, это *внутренне-духовно-общее*, стоящее за языком и книгой у натуралистов и за внешней их объединенностью... Не от него ли, от *единства, цельности, объединенности идейно-внутреннего содержания и широты определения конечных целей изучения природы, от достоинства и общности естественно-научного мировоззрения*, зависит всего более и значение Естествознания, как фактора идейно-внутренней культуры человечества?

Имея целью уяснить размеры общности естественно-научного мировоззрения и достоинство его, как внутренней духовной связи необъятной армии натуралистов, начнем для простоты с самой активной и, быть может, самой многочисленной их части, той, что всего проще поддается внешнему учету. В существующем обширном справочнике-указателе зоологов всего земного шара собраны фамилии и адреса любителей-натуралистов от Каширы и Каменогорска до Колумбии и Полинезии. При каждом имени находим указание на специальности, столь же различные, как и общественные положения их авторов. Вот податный инспектор в Туруханске, в часы досуга занимающийся зоотомией; вот, далее, казачий офицер в центральной Азии с пристрастием к орнитологии; вот миссионер из Полинезии, интересующийся этнографией; вот губернатор в Патагонии с влечением к антропологии... Но перелистываем далее: вот почт-директор из Австралии со склонностью к энтомологии; вот иезуитский патер из Бразилии — знаток по изучению моллюсков и т.д., и т.д. Тысячи имен и лиц, различных по образованию, профессии и по наклонностям своим, как собственно натуралистов.

И естественно спросить, что двигает, что побуждает этих лиц часы досуга посвящать знакомству с окружающей природой? Несомненно, что ответы получились бы весьма разнообразные: страсть к коллектированию, спорт и эстетическое удовольствие, любовь к природе и природная же любознательность. Но спросим далее: каковы конечный смысл, последняя задача или цель подобного общения с природой? В какой степени последнее влияет и на их *мировоззрение*? Можно уверенно сказать, что по вопросу о конечных целях изучения природы, между иезуитским патером в Бразилии и податным инспектором из Туруханска различия окажутся не меньшие, чем те, что разделяют их профессии и местообитания. Всего вернее, что вопрос наш вызовет недоумение, как необычный, новый и не обращавший на себя внимание. В лучшем случае нам возразят, что дело призванных ученых разбираться в высшем назначении Естествознания; удел любителей-натуралистов ограничиться более скромной ролью — собиранием ближайших фактов и ближайшею их группировкой. Соглашаясь временно с подобным объяснением, оставляем скромных по своей конечной роли и значению любителей-натуралистов.

Обращаемся к официальным представителям науки, к университетам и лабораториям, музеям и приморским станциям, которые широко пораскинулись под самыми различными широтами. От новоявленных

японских университетов со смеющимися в окна рощами мимоз до затененных эвкалиптами университетов знойной и сухой *Австралии*; из Ботанического сада *Бейтенцорга* на далекой *Яве*, тонущего в роскоши её растительного мира, отраженного в её тропических затоках вместе с колыхающимися на них листьями Виктории-Регии, до осененных пагодами университетов *Индии*; отсюда до музеев раскаленного *Капштада*, к обрамленным апельсиновыми рощами и пиниями и лазурью неба и воды лабораториям *Виллафранки* и *Неаполя*; от лабораторий *Бергена*, спокойно, холодно смотрящего в синеву норвежских фиордов; отсюда к институтам *Рио-де-Жанейро*, нежащегося на фоне пальм, повитых волнами лиан; и, наконец, до пышных университетов *Балтимора* и *Калифорнии*, охваченных волнами океана — тянется гигантская культурная живая цепь, широко охватившая весь мир.

Тем настоятельнее выдвигается желание узнать, насколько величавости её размеров соответствует величие и цельность внутреннего единения, насколько внутренняя спаянность этой идейной цепи отражается и на духовной цельности её отдельного звена.

Начнем с этого последнего. Возьмем отдельное звено, какой-нибудь естественно-научный институт любого университета. И не побоимся обратиться к представителям его с наивным по прямолинейности вопросом: в какой степени объединенные научной работой в стенах того же учреждения объединяются духовно *общностью естественно-научного мировоззрения*?

Вопрос и неуместный, и непринятый в академических кругах и, тем не менее, требующий для себя ответа.

Как обычно, недовольство и недоумение, с которым встречается вопрос, в известной мере уже предваряют отрицательность его решения. И действительно, ответить на него возможно только отрицательно. Можно без страха к преувеличению сказать, что истинного единого и общего естественно-научного мировоззрения не существует даже между представителями близких дисциплин того же учреждения, между лицами, всходящими на ту же кафедру, и в той же аудитории. И это не в одной России, но и за границей, и на Западе, где представители науки чаще, чем у нас, суть выразители определенных школ. И происходит это потому, что какова бы ни была научная преемственность и связь у представителей известной школы или направления, как правило то и другое не выходит за пределы собственно академических вопросов, оставляя незатронутыми те, в которых отражаются искания общечеловеческого свойства. Что же говорить о солидарности мировоззрений там, где представители различных школ и разных университетов разделяются несходством собственно научных взглядов и антагонизмом, с необычной упорностью переживающим порой не одно академическое поколение. И не будем ли мы правы, допустив, что в понимании *конечных* целей изучения природы, как пути к научному мировоззрению, среди ученых разных стран и разных университетов солидарности не больше, чем у вышеупомянутых любителей-натуралистов.

И нельзя не видеть, что в обоих случаях духовная разрозненность естествоиспытателей наглядно выражается и на характере и форме их литературного общения. Достаточно взглянуть на те естественно-научные журналы или книги, что с такой однообразной методичностью размещены по библиотеками научных учреждений Токио, Неаполя, Сан-Франциско... Подавляющее большинство этих настольных и научно-компетентнейших изданий даже отдаленно не затрагивает более глубокие, заветные вопросы авторов, ничем не выдает их *сredo*, ничего не говорит о людях и о человеческих исканиях, стоящих за научными трактатами и за академическими подписями их.

Нам могут возразить: здесь смешиваются два вопроса, два призвания — вопрос очередной и будничной, и часто неизбежной эмпирической работы, как основы и необходимого условия развития любой науки, и вопрос о синтезе научных данных в философскую систему и в научное мировоззрение. Одно — возможно только через коллективную работу существующих научных центров и обширных кадров из специалистов; другое — достояние немногих обобщающих умов, учителей не только в области науки, но и в жизни, и мировоззрении, призвание духовных властелинов, царящих и над мыслями ученых, и над человеческими думами.

И снова, соглашаясь временно с подобным возражением, мы переводим взгляд к этой последней, высшей нам указанной инстанции. Подходим к трибуналу тех вождей Естествознания, тех властелинов мысли, имена которых знаменуют целые эпохи для духовно-внутренней культуры человечества.

Начнем с величайшего биолога минувшего столетия. Начнем с *Дарвина* и потому, что никогда еще естественно-научная теория не отражалась так глубоко на миросозерцании людей и общества, как Дарвинизм, так и потому еще, что в величавом облике своем, покрытый славой и признанием идеального ученого и человека — Дарвин словно олицетворял собой возможную гармонию науки и мировоззрения.

И в самом деле, никогда еще наука не видала более величественной, стройной и законченной картины мира, нежели та, в которой отлилось научное мировоззрение Дарвина в немногих заключительных строках его бессмертного творения, идея постепенного происхождения органического мира, вплоть до высших его форм, кончая человеком, по законам, незаметно продолжающим и ныне вызывать из небольших начальных уклонений новые и совершеннейшие формы. И набрасывая величавую картину беспредельной эволюции живого мира, проникаясь стройностью *научного* мировоззрения, Дарвин, *как ученый*, примиряется и с тем, что возвешаемые им принципы и бесцельны, и непланомерны, что случайно, слепо и бесцельно то, что регулируется ими.

Но просматриваем письма Дарвина и автобиографии его, в которых больше, чем в научных сочинениях его, можно надеяться найти действительное отражение заветных взглядов Дарвина, *как человека*. Мы читаем: «невозможно согласиться, чтобы этот изумительный и необъятный космос, обнимающий собою человека с его даром устремлять свой взор в далекое прошедшее и будущее, чтобы вся эта Вселенная была лишь следствием слепого случая»... И далее, в одном из писем, за немного месяцев до смерти Дарвина последний, отрицая, чтобы за природными законами стояла целесообразность, лишь немногими строками ниже выдает за самое глубокое живое убеждение мысль, «что Вселенная — не результат случайности».

Как примирить это столь явное противоречие, сквозящее повсюду там, где голос Дарвина-натуралиста заглушается сомнениями Дарвина, как человека? Разногласие, которое так искренно, открыто сознавалось им; противоречие, которое он никогда не мог ни примирить, ни подавить в себе; противоречие, которое неоднократно вырывало у него сознание бессилия пролить «хотя бы слабый свет на эту темную проблему», сознание, приведшее его к признанию себя *агностиком*.

Великий реформатор биологии, оставивший глубокий след в самых различных областях Естествознания, виновник небывалого переворота в области научного мировоззрения, Дарвин бесконечно далеко стоит от обладания законченным и цельным мирозерцанием, не будучи способным разрешить давившую его антиномию: воззрение на гармонию и совершенство органической природы, как продукта деятельности слепых, лишенных цели и планомерности законов, механически слагающих случайные, слепые преимущества — и убеждение, глубоко диктуемое тем же разумом, что взятую, как целое, Вселенную нельзя рассматривать, как проявление грандиозного слепого случая.

Хотя чему воззрению на стройность, замкнутость дарвинистического мирозерцания — мы можем противопоставить вытекающее с очевидностью из слов самого Дарвина отсутствие подобного мировоззрения для него.

Но если цельности мировоззрения не было у величайшего натуралиста 19-го века, то быть может оно было у виднейшего защитника его естественно-научного прогресса — Дюбуа-Реймона? В противоположность Дарвину, которому врожденная застенчивость и недостаточная склонность к отвлеченным построениям мешали развивать свое мировоззрение в законченной системе — Дюбуа-Реймон, конечно, больше, чем своими специальными трудами, получил известность, как блестящий, выдающийся оратор, часто и охотно выступавший по вопросам высших обобщений в области Естествознания. Не менее известен и характер этих выступлений, и руководящий тон его речей. Известно, как духовно восставая против некоторых поспешных обобщений современников-натуралистов, Дюбуа-Реймон горячим словом призывает их к тому, чтобы «глядеть с бесстрашием на границы нашего познания». Не менее известно то, как с усилением призыва этого росли и множились эти указанные им границы; как, помимо абсолютно непреодолимых граней, вроде разрешения проблем о «сущности материи и духа» и вопроса о «происхождении движения», загадкой, хотя и менее роковой, Дюбуа-Реймон считает и вопрос, лежащий в основании учения Дарвина — вопрос о том, *как можно целесообразность видимой живой природы объяснить посредством механических непланомерно действующих факторов?* Попытка Дарвинова объяснения — его теория отбора, принимается лишь как паллиатив, как крайнее единственное средство удержаться от того, чтобы не воскликнуть здесь, как и по отношению к другим загадкам о «происхождении жизни, чувственного восприятия и свободы воли», чтобы не воскликнуть вместе со знаменитым физиологом его классическое «*Ignorabimus!*».

И, как «Слепые» в драме *Метерлинка*, и натуралисты, следуя заветам Дюбуа-Реймона по вопросам о действительной природе окружающего мира вынуждены говорить перед собою: «Мы не знаем... никто не знает...»

«Мы знаем приблизительно все, что нам надо знать» — так возражает в драме знаменитого бельгийского писателя один слепорожденный оптимист. И то же самое могли бы повторить естествоиспытатели, подобно

Дарвину не склонные к созданию законченных систем, подобно Дарвину не знающие, есть ли в окружающей Природе установленная плановость, но и не страдающие от неведения и не смущающиеся границами познания, указанными Дюбуа-Реймоном.

«Я не убежден в наличии в природе целей и не знаю, существует ли они? И если да — то каковы они? Мы не можем постичь неведомого, его плана и намерений. Оставим же в стороне „Природу“ и будем заниматься только тем, что доступно нашему уму» — слова которыми и начинается, и заканчивает Мечников свои «Этюды Оптимизма».

Как показывает самое название этой книги, откровенное признание агностицизма совмещается у Мечникова с убеждением в возможности не только мирозерцания, но и построения его на оптимистических началах.

И с недоумением спрашиваем мы: как можно, отстраняя от себя проблемы, составляющие сущность всякого мировоззрения — вопросы о значении и смысле бытия и цели мира — создавать учение, так безусловно и уверенно приемлющее, утверждающее этот непонятный мир и столь же неразгаданное бытие? Возможно ли постигнуть смысл жизни каждого из нас, не задаваясь исканием значения и смысла той Природы, частью которой мы являемся? Казалось бы вопрос не допускает двух решений. Посмотрим же, как эта беспросветная дилемма разрешается нашим великим соотечественником.

По мнению Мечникова, «дело далеко не обстоит так безнадежно», чтобы, оставаясь в рамках позитивного исследования, «нельзя было постигнуть смысла жизни человека», чтобы невозможно было указать «тот путь, идя которым, можно было бы найти успокоительный ответ на великую задачу жизни человечества». Ответ великого ученого основывается на следующих силлогизмах: «Искание особой цели в жизни представляется различным в разные возрасты.» Всего сильнее оно в юности, слабее в пожилых годах, тогда как в наиболее преклонном возрасте вопросом о значении и смысле жизни и совсем не задаются. Причина этого — усиливающееся с годами «чувство жизни», инстинктивное стремление к ней, стихийный физиологический порыв жить, жить во что бы то ни стало, независимо от смысла и от цели. А потому, так полагает Мечников, достаточно продолжить жизнь человека; стоит лишь в противовес мятущейся и вопрошающей, и сомневающейся юности, продлить период разумной возмужалости и пожилых годов, не задающихся вопросами о цели жизни, но берущих жизнь, как таковую; стоит лишь продлить и вовсе успокоенную старость и содействовать развитию и закреплению «инстинкта смерти», как естественного завершения жизненного цикла, и вопрос о смысле жизни человека потеряет для него свою мучительную прелесть.

С изумлением усматриваем мы, что в толковании Мечникова вопрос о смысле и о цели жизни разрешается ничем иным, как указанием на возможность притупить, ослабить в человеке высшую потребность спрашивать себя об этом смысле и об этой цели. Возвращаясь к вышеприведенной драме Метерлинка, символически изобразившего беспомощное положение слепцов, застигнутых вдали от дома смертью их поводыря — возможно было бы устами Мечникова указать, что ведь не даром наиболее страдающим от слепоты и жаждущим прозрения является у Метерлинка образ молодой слепой, тогда как старики уже не ищут невозможного...

«Мы знаем приблизительно все, что нам надо знать», слова эти могли бы повторить сторонники «Этюд Оптимизма», забывая, что подобное спокойствие напоминает квиетизм и спокойствие слепца.

Но скажут, приведенное сравнение совершенно неуместно: между символической пьесой Метерлинка, отражающей, как и в других его произведениях, *внутреннюю* слепоту людей к «потустороннему», мистическому миру, и агностицизмом современного натуралиста, не более общего, чем между поэтической фантастикой художника и позитивной мыслью ученого.

Оказывается, между тем, что даже это маловероятное на первый взгляд сближение физической реальности с мистической «потусторонностью» на практике не представляется таким несообразным.

Правда, что открытые более 100 лет тому назад явления медиумизма, столь решительно отвергнутые Парижской Академией Наук (1784 г.), на основании *пятимесячной* проверки, и не менее решительно же признанные той же Академией Наук впоследствии (1821 г.), после *пятилетней* экспертизы, правда, что явления эти не переставали с того времени служить предметом осмеяния и глумления у представителей академической науки. И тем знаменательнее, конечно, если Мечников счел нужным выяснить свой взгляд на эту спорную, запутанную область. Но, как и следовало ожидать, попытки Мечникова убедиться в ис-

тинности, столь противоречащих механистическому мирозерцанию, явлений ясновиденья и сомнамбулизма, не убедили автора «Этюдов Оптимизма» в истинности самих фактов. Что же удивительного, если и защитники последних не смогли поколебать его рационализм, убеждение Мечникова в том, что представления бельгийского мыслителя о нефизическом, «потустороннем» мире были и остались в качестве продуктов поэтического вымысла: слепые Метерлинка для натуралиста представляются вдвойне слепыми.

Замечательно, что не проходит мимо области медиумизма и другой великий русский представитель точного Естествознания — Менделеев. Но и для него сознание необходимости научного расследования и проверки фактов, утверждаемых спиритами, диктуется не пожеланием расширить рамки познаваемого мира или углубить, уточнить, одухотворить научное мировоззрение, но совсем наоборот: боязнью мистицизма, опасением, как бы неведомый духовный мир не оторвал бы многих от их «здорового» воззрения на предметы. Результат исследования слагается вполне благоприятно для великого ученого. В опубликованных им «Материалах для суждения о спиритизме», Менделеев, опираясь на труды особой, им составленной комиссии по изучению медиумических явлений, объявляет, что последние суть «суеверия».

Победила, восторжествовала трезвость, здравость взгляда; непоколебимым сохранилось рациональное мировоззрение... Но спрашивается, каково оно, это реалистическое, здоровое мировоззрение Менделеева, так гордо, так ревниво им оберегаемое?

С живым и жгучим интересом обращаемся к той книге, что, написанная незадолго перед смертью Менделеева, несет заманчивое и глубокое заглавие: «Заветные мысли Менделеева». Это и есть те мысли, о которых автор говорит, что «он боялся согрешить замалчиванием их» — те мысли, что «рвались наружу», как ответ на шедшие со стороны призывы к «мистическому личному успокоению».

Итак, что же находим мы в «заветных мыслях Менделеева»? Нетерпеливо перелистываем мы страницы и отделы этой книги, озаглавленные: *внешняя торговля, фабрики, заводы*; перелистываем, пропускаем то, что говорится автором о состоянии высшей школы и образования, рассматриваемых, главным образом, со стороны их внешнего устройства, и не позволяющих судить о мирозерцании автора; и дальше перелистываем книгу, приближаемся к концу её и с грустью узнаем из послесловия, что предположенная краткая глава о мирозерцании так и осталась в области предположений, вследствие бессилия его автора дать полную и ясную картину своих взглядов. И немногие слова, в которых можно угадать «заветнейшие» мысли гениального ученого, касаются лишь общих мест и пожеланий.

И мы спрашиваем: для того ли стоило бороться Менделееву за *позитивное мировоззрение* и против посягательства на здравый, трезвый взгляд науки, если заключительные строки жизни гениального ученого не вышли за пределы общих фраз и неуверенно-уклончивых туманных назиданий?

Ни рационализм Мечникова, ни позитивизм Менделеева при всем их выдающемся таланте, как естествоиспытателей, не в силах были привести к мировоззрениям, хотя бы в слабой мере отвечающим величию имени их авторов.

Нам скажут: дело индивидуальности таланта и особенностей умственного склада, если гениальные создатели «Теории Фагоцитоза» или «Периодической Системы» оказались менее удачными, как создатели научного мировоззрения.

Но удивляться и грустить приходится не потому, что Мечников не смог оставить более приемлемого мирозерцания, а Менделеев, обещавши, не оставил никакого, но тому, что оба замечательных мыслителя, *как люди*, удовлетворялись столь несовершенными ответами, которые последним словом мудрости провозглашают квиетизм и молчание.

И опять, и снова слышим возражения; да как же быть, если, хотя бы и наперекор нашему чувству и этическим исканиям, *рассудок*, подкрепленный *положительно-научным методом*, определенно говорит, что *неизвестны* до сих пор в природе факты и явления, которые бы не укладывались в рамках *точного* физического объяснения. Что для духовного, спиритуалистического мирозерцания опоры нет в Естествознании, а только в данных веры или суеверия. Что ложность, что обман, лежащие в основе пресловутого медиумизма, раскрыты и доказаны на ряде опытов никем иным, как автором «Основ Химии» и «Периодической Системы».

Действительно, всесокрушающая отповедь. Но вот встают перед глазами книги и статьи, подписанные именем, немногим менее известным, тоже химиком, вторым за Менделеевым по широте и самобытности, как

конструктивного ума, создателем особой русской школы химиков и основателем «теории строения» — воззрения *Бутлерова*, выступающего на защиту спиритизма и других медиумических явлений.

И мы читаем «... никакое осмеяние, никакая брань, ни опасение показаться слабоумным не могут заставить меня отступить от свидетельства моих чувств и моего *рассудка*», и немного дальше: «для меня довольно того, что виденное и описанное мною представляет по крайнему искреннему убеждению моему реальные, неподдельные явления природы... нужно только, чтобы их признание совершилось в силу строгого наблюдения, изучения, проверки опытом, чтобы пришли к нему, руководствуясь *положительным научным методом*». Это в защиту фактов; каково же объяснение их у Бутлерова? Может быть последний, выступая на защиту фактов спиритизма, оставался механистом в деле их истолкования? Напрасная иллюзия! За это говорит то заключительное положение, к которому приходит Бутлеров. Он говорит: «Физические объяснения, которые мне приходилось слышать — легки, но до жалости *недостаточны*; духовная гипотеза — *достаточна*, но представляет громадные трудности».

Достаточно покамест и для нас. Нам стоит лишь поставить рядом двух виднейших химиков России — спиритуалиста Бутлерова и материалиста Менделеева. И стоит лишь спросить себя: кого же нам избрать судьей, арбитром двух столь близких по науке, но различных по мировоззрению ученых?

Достаточно хотя бы мельком пробежать тот длинный список уважаемых в Естествознании имен, с которыми, как замечает Бутлеров, «приятно разделять нападки и глумления». Оставим в стороне ряд знаменитых химиков и физиков, подобных *Круксу*, *Гейгенсу* и *Варлею* — все членов Лондонского Королевского общества, этого высшего научного учреждения Англии; оставим математиков, подобных академику Остроградскому и проф. Моргану, и ограничимся одним лишь именем *Альфреда Уоллеса*.

Начнем с того горячего признания великого биолога, на которое ссылается и Бутлеров. «Я так уверен в истине и объективной реальности фактов медиумизма, что готов весь этот вопрос отдать на суд любого человека науки, желающего дойти до истины»... и далее: «Я не знаю» — утверждает Уоллес — «ни одного человека, который, сделав эти опыты, не убедился бы в действительности медиумических явлений». Это — в отношении фактов, защищаемых медиумизмом, но для Уоллеса самые факты эти ценны только потому, что открывают целое мировоззрение, насквозь проникнутое *спиритуализмом*.

Для Уоллеса Вселенная проникнута и Разумом, и Волей, как свободной волей наделен и человек. Приняв «существование духовного мира», Уоллес рассматривает Вселенную, как «одно целое, во всех его частях приспособленное к развитию *духовных* существ, способных к бесконечной жизни и совершенствованию». «Для нас единственная цель, единственное основание существования мира со всею сложностью его физического строения, великим геологическим развитием, медленной эволюцией растительного и животного царства и последним появлением человека заключается в развитии человеческого *духа*».

Таково мировоззрение Альфреда Уоллеса, ученого, совместно с Дарвиным обосновавшего идею эволюции в Естествознании, одновременно с Дарвиным, но независимо создавшего теорию «естественного подбора».

И мы видим, что указанные разногласия двух величайших русских химиков лишь покрываются, усиливаются несходством мирозерцания Дарвина и Уоллеса.

И таким образом замкнулся круг великих разногласий по вопросам высшего искания и путей к нему шести великих представителей Естествознания: *агностицизм* Дарвина и Дюбуа-Реймона; *позитивизм* Мечникова, Менделеева; *спиритуализм* Бутлерова, Уоллеса. Агностик Дарвин и стоящий рядом Уоллес спиритуалист — два величайших реформатора в науке о живой природе, шедшие совместно в качестве натуралистов, разошедшиеся в исканиях, как люди — вот достойный символ существующей разъединенности в вопросах жизни и науки.

Нам возразят, что иначе оно ведь и не может быть, что по вопросам о последних выводах Естествознания натуралисты только следуют заветам *Шиллера*, на преждевременное единение натуралистов и философов, ответившего им призывом к розни и вражде, с советом разойтись в искании Истины, чтобы сойтись затем по отыскании её...

Сознаемся и мы, что разногласия великих перечисленных умов лишь временная переходная ступень, что будущее, может быть, ближайшее к теперешнему поколению дождется до желательного синтеза.

Но спрашивается, как быть, что делать с современным поколением, с теперешней молодежью, столь нетерпеливой и настойчивой? Что говорить широкой массе современного нам общества? Что говорить народу, рвущемуся к знанию и не склонному довольствоваться лишь ближайшими познаниями; народу, верящему, что наука сделает их жизнь более осмысленной, ответив на вопросы: *Откуда жизнь? К чему она? Что ждет нас впереди?*

Поставленные с полной определенностью, в упор, вопросы эти и в условиях мирной жизни настоятельно и властно ожидают своего решения; насколько же мучительнее и острее ставятся они теперь устами тысяч лиц, захваченных так непосредственно несслыханными ужасами мировой войны? Какою горькою насмешкой прозвучали бы слова ответа в направлении «Этюдов Оптимизма», с их апофеозом долгоденствия и успокоенной счастливой старости; и не являлось бы кощунственным перед лицом миллионов исковерканных, истерзанных физически и нравственно людей в расцвете юности и сил — беседовать об оптимизме, вызываемом надеждой продолжить на один-другой десяток лет години старческого одряхления?

К стыду для русского образования, но к счастью для широкой массы русского народа не приходится, однако, говорить об отражении на нем какого ни на есть научного мировоззрения. Мы говорим «по счастью», ибо мы не знаем, в сторону какого мирозерцания пойдут идейные искания страны, и временную независимость её предпочитаем роковому выбору, возможному и вероятному.

Но если глубоко спасительная в данном случае отсталость отодвинула от нашего народа угрожающую ему опасность в выборе, то от последнего наука не уберегла умы соседней нации, последствия чего, конечно, не могли не отразиться на духовном облике широких масс германского народа.

Каково же это мирозерцание, широкою волною охватившее Германию, объединяющее *гласно* многих выдающихся естествоиспытателей, *негласно* подавляющее большинство её; мировоззрение, через сотни тысяч популярных изложений и брошюр проникнувшее в массы, опирающееся на целые организации. В чем заключается это могучее естественно-научное мировоззрение?

Вот основные тезисы его: «В природе нет ни целесообразности, ни цели; прочь с верой в мировой порядок, как и с представлением о свободе воли; все находится в одной лишь механической связи; весь космос — только грандиозная машина, аппарат, в котором роль колес представлена движением атомов, слагающихся здесь в пылающее солнце, там — в миниатюрного жука. И атомы же вызывают то, что человек есть мыслящее существо. Нет разницы по существу между живой и мертвой природой. Весь мир живых и неживых существ подвластен, подчинен лишь двум законам: притяжению и отталкиванию атомов. Молекулярное движение является причиной и человека, и души его...»

Едва ли нужно говорить, что автор этого учения — *Эрнст Геккель*, и что в вышеприведенных тезисах мы ознакомились с основой «монистического» мирозерцания его. Оно сложилось у его творца немного более чем столетие тому назад, при орудийном гуле Кёниггрецкой битвы, обусловившей теперешний союз Германии и Австрии. При орудийном громе же и на глазах у нас всплывает, обнаруживается моральное бессилие этой бездушной, черствой и гнетущей по духовной скудости идеологии.

И в самом деле. Если точно этот мир, в котором мы живем, есть только выражение слепых и механически детерминированных вихрей атомов, и если точно люди лишь колеса, слепо и автоматически участвующие в бессмысленной работе механически слепого космоса, то спрашивается, откуда брать тогда и силы, и желание бороться за этические идеалы, за духовно-индивидуальное начало? Не являлась бы подобная борьба сравнимой с положением рабочего, который, стоя за станком своей машины вздумал бы через посредство рычагов её бороться с унижающим его автоматизмом и механизацией труда? И если полные случайности рождение и смерть людей ничем не предопределяются, а предопределен только конец нашей земли, которая, хотя и в отдаленном будущем, но неизбежно, как безлюдный и одетый ледяным покровом шар, будет по-прежнему кружить над охлаждающимся солнцем — то что ж печалиться о современной Бельгии? Что по сравнению с той грандиозной могилой Вселенной преходящие могилы Реймса и Лувена? И какой глубокой пропастью отделено такое гордое естественно-научное мировоззрение от того, которое веками создавалось за стенами средневековых монастырей-университетов у профессоров Лувена с их смиренными сутанами...

И как глубоко чужды для упрощенного, трезвого мировоззрения Геккеля причудливо-узорчатые линии готического храма, закрепившего мистически-глубокие и сложные искания его строителей? Ни для Лувена, ни для Реймса с их духовной сущностью в научном мирозерцании Геккеля не оставалось места. И дымя-

щиеся стены библиотеки Лувена, и огонь, перебегающий по сводам Реймского собора, представляются, как символы идейно-внутреннего столкновения двух глубоко враждебных мировоззрений: средневекового, сложного, проникнутого духом и духовностью *идеализма*, и созданием 19-го века, трезвым и упрощенным естественно-научным *реализмом*.

Ужасаемость подобного мировоззрения сознавалась, впрочем, в свое время даже убежденными материалистами. Достаточно вернуться к Дюбуа-Реймону, преклонение которого перед величием естественно-научного прогресса не мешало выразить свои глубокие и полные пророческого смысла опасения: «Односторонние занятия Естествознанием», так говорит он, «слишком приучают нас вращаться только в области *количественных* отношений; ограничиваясь лишь ближайшим, отвлекают дух от обсуждения более общего, хотя, быть может, менее достоверного... в итоге дух оскудевает высшими идеями, фантазия — образами, чувствами — душа... Техническая сторона Естествознания незаметно придвигается все ближе на передний план; немногих беспокоит путь, которым добывалась Истина: насчет готовых, сорванных со своих корней итогов, из полезных, но сухих и черствых фактов грубо-чувственного восприятия слагается теперешняя образованность. И иссыкает дух и его творчество, которое лишь в отречении от мира с терпеливой, верной преданностью способно создавать непреходящее». «Короче — заключает Дюбуа-Реймон — идеализм побеждается борьбой с реализмом, и грядет царство материальных интересов».

Беспристрастно и сурово указавши теневые стороны реалистического миропонимания, Дюбуа-Реймон с такой же объективностью и с болью останавливается на признаках грядущей гибели германского идеализма. И оглядываясь на события, приведшие Германию ко внешнему могуществу и блеску и к осуществлению её давнишних национальных чаяний, он спрашивает: «Не ускорило ли этими реальными успехами политики падение германского идеализма, уготованное в области Естествознания?»

Это писалось 38 лет тому назад. Суровая действительность не обманула Дюбуа-Реймона: упоенная своею политической мощью и технической культурой Германия на глазах у нас устами *Гауптмана* и *Эйкена* порвала окончательно с идеализмом...

И однако, от жестокой современности Германии мысль невольно забегает в будущее и наводит на сравнение... Что если предсказания великого ученого, не убоившегося в годы величайшего народного подъема указать на дорогую цену купленного внешнего могущества *своей* страны, что если предсказания Дюбуа-Реймона приложимы и к *другой* стране? И не стоит ли также наша родина перед возможным разрешением своих давнишних национальных чаяний? Не застаем ли мы Россию накануне небывалого её могущества? Что если вместе с надвигающейся политической славой, с упрочением внутреннего строя породится опасение, что с «неопределенною тоской, неудовлетворенностью стремлений, с гложущим сомнением в своих силах» *наш* народ «не потеряет вместе с тем много из своего воодушевления к идейному, из бескорыстного стремления к истине, из своей тихой и глубокой задушевности?»

И да не скажут нам, что эти опасения беспочвенны: есть, правда, к счастью лишь отрывочные, показатели обратного. Не в праве ли и мы сказать и про свою страну: «как сон исчез период расцвета для родной литературы»... И когда мы слышим, что, по мнению виднейшего поэта наших дней, отдавшего опять свое призвание «времени военных труб и песен» — что пропитанные кровью и кровавым реализмом описания сцен из нынешней войны составят в будущем излюбленную тему чтения для нашей молодежи; и когда мы видим, что старания автора «Этюдов Оптимизма» бессознательно, во имя торжества реалистического толкования, направлены к тому, чтобы на место величавого в своей духовной силе Гётевского Фауста и его творца, подставить образ дряхлого эротомана, то имеем ли мы право игнорировать возможные опасности для русского идеализма, не должны ли мы, напротив, приложить все меры, все усилия к тому, чтобы спасти и сохранить его и в будущем?

Является вопрос, какими средствами спасти и поддерживать идеализм в надвигающейся на него грозе? Вопрос, который ставился и Дюбуа-Реймоном для своей страны, для которой он пытался отыскать спасительное средство. И ему думалось, что он нашел его в призыве к изучению духовно-внутреннего содержания наследия античной древности. В обвешанных неувядаемой красотой, угасших исторически, живых духовно образах эллинистической культуры, в *эллинизме* думал Дюбуа-Реймон найти палладий против надвигающегося реализма.

Но едва ли нужно говорить, что эта разделявшаяся многими умами вера в воспитательно-культурное призвание классицизма не сумела оправдать себя. И что, напротив, слишком многое говорит о неприемлемости этого пути. Достаточно припомнить отповеди двух биологов, умевших сочетать естественное и гумани-

тарное образование. «Я полагаю», говорил наш знаменитый соотечественник *фон Бэр*, «что ни один отец не пожелал бы видеть дочерей своих, воспитанных согласно идеалам древнего Олимпа...» — «Жизнь вся установлена новейшей артиллерией», указывалось *Гексли*, «вы же высылаете в нее своих сынов, давая им лишь меч и щит античных гладиаторов!»

Бессильные со стороны этической, глубоко чуждые всей современности, классические идеалы неприемлемы для нас и потому, что вдохновитель бесконечных распрей и кровавых боен, античный мир примером подражания служить не может.

И не требуется много слов, чтобы показать бессилие и *философии*, как таковой, разжать тиски нахлынувшего реализма. Если в умственном развитии отдельных лиц искания позитивного, реалистического направления сменяются порой внезапно увлечением метафизическими знаниями без ущерба для внутренней правдивости и глубины искания — то для страны подобные психологические срывы вряд ли допустимы, и, конечно, всего менее у нас, в России, где для народных масс едва забрезжилась заря и солнце умственной культуры. Не с вершины человеческого знания, парящего высоко в царстве умозрения, оторванного от жизни и её конкретных проявлений, но в теснейшем единении с последней и в пределах, лишь доступных пониманию широкой массы нашего народа, надобно искать пути и средства приобщения его к началам идеалистического знания.

Итак, ни вспыхнувший так ярко и погаснувший затем античный классицизм, как первоисточник всей историко-литературной сферы творчества, ни философия, встречающая леденящим холодом непосвященного — не могут почитаться за надежные, действительные средства и пути борьбы за целостность русского идеализма.

И мы снова переводим взгляд на вечно величавую и все же близкую для нас Природу и невольно спрашиваем себя: действительно ли неизбежно, чтобы изучение её, доставившее столь неоценимые блага, воспетые когда-то Дюбуа-Реймоном, чтобы изучение её так неизбежно приводило вместе с тем и к роковым последствиям, так верно и пророчески указанным? Не потому ли впал в противоречие с собой великий физиолог, что, как представитель *точной* дисциплины Биологии, и он не избежал ошибки, столь обычной и естественной: *смешения вопросов метода с вопросами мировоззрения*? Не потому ли произошло и то, что сам великий мастер в отношении метода, новатор в области эксперимента, Дюбуа-Реймон явился и агностиком в вопросах мирозерцания? И не отсюда ли его переоценка роли и могущества технического гения и то, что самое искание орудия борьбы с последствиями реализма закончилось бегством с поля битвы и предательством Естествознания, обращением к его идейно-внутреннему антиподу, классицизму?

И не будем ли мы правы, признавая полностью законность и величие материалистического метода в принадлежащей ему сфере материальной видимой природы, и не будем ли мы в праве столь же властно и категорически противиться тому, чтобы *один из методов научного познания претендовал на целое мировоззрение*, презрительно отодвигая все, что не укладывается в одностороннем свете материального анализа?

Мы видели, как глубоко расходятся пути духовного искания даже у виднейших представителей науки, как неравноценны их мировоззрения. И кто возьмется предрешить судьбу и будущее каждого из них? Казалось бы, что одного уж этого достаточно, чтобы уберечь нас от поспешности и сомнений...

Одно мы можем с достоверностью сказать: в самой Природе нет и быть не может тех источников идейно-внутреннего очерствения души и духа человека, на которое когда-то жаловался Дюбуа-Реймон; они, эти источники, лежат во вне, вносятся человеком. И от человека же, от нас зависит, созерцая и исследуя одетую еще глубокой тайной многогранную Природу, пробуждать в себе, выращивать и укреплять другие стороны своей такой же многогранной и таинственной души.

И если мы, проникнувшись таким духовным строем, возвратимся к изучению Природы не с сознанием бесспорных обладателей единственно-спасительного метода, заведомо и гордо предрешающего целое мировоззрение, но со скромной и честной готовностью менять и снова, и опять менять пути, ведущие к её идейному познанию; короче, если мы научим молодое поколение и народ не только «трезво», но и «с трепетом» смотреть на окружающую нас Природу и задачу познания её, то нам раскроются такие горизонты для ответов разуму и красоте, которые наверное и безусловно смогут дать мировоззрение, отвечающее и *этическим* исканиям. Здесь, разумеется, не место и не время говорить подробнее об этом миропонимании, достаточно, во избежание упреков в «фразе» лишь немногими штрихами указать возможные пути к нему.

Мы, разумеется, не станем на дорогу спиритуализма Бутлерова или Крукса: то задача точных дисциплин, к которым в продолжение всей жизни чувствовал влечение и Уоллес. Мы можем подойти другой дорогой, противоположной пути последнего, и в качестве биологов начать с критического пересмотра эмпирической основы высшего биологического обобщения — *эволюционного учения*.

Осязательно, конкретно-видимым путем, все время оставаясь в сфере *положительного* знания, возможно на конкретных фактах, что стояли перед взорами и Дарвина, и Уоллеса, наглядно показать причины колебания в мировоззрении первого и разногласия в миропонимании обоих; можно показать, что область фактов и явлений, более других влияющих на усвоение широкой массой миропонимания Геккеля и отдаленно не дает поддержки для его механистической идеологии.

Служить проводником обратного мировоззрения, *положительно-конкретного по методу, но идеалистического в своей сущности* — вот какова задача учреждения, ждущего к себе внимания даже в эту исключительную пору. И уверенный, что только то общественное начинание может быть спокойным за уместность, своевременность призвания и роли, которому в моменты высшего духовно-внутреннего напряжения страны *есть* что сказать для общества — музей наш претендует на внимание и поддержку в предстоящей для него работе и борьбе.

«Наука не воюет» — слово, высказанное будто бы в начале нынешней войны ученым, уважение к которому, как к гениальному биологу, не помешало нам отметить неприемлемость его научного мировоззрения. К сожалению, не более приемлемы слова об этой *мнимо «не воюющей»* науке. И не потому, чтоб этому мешали выступления Геккеля и Вундта — эти все же единичные эксцессы, вызывающие только скорбь и сожаление. Но потому, что с незапамятных времен везде и всюду, не переставая, шла и продолжается вестись война *в самой науке, в области научного мировоззрения*; война порой не менее жестокая, чем современная, там, на границе с Западом, подобно ей, имеющая и своих безвестных рядовых — героев, и своих великих, но непризнанных вождей — от Уоллеса и Бутлерова до Галилея и Джордано Бруно...

И расставаясь в мыслях с теми и другими, можно только пожелать, чтобы за близкой ожидаемой победой пороха и крови, мы дождались позднее и другой победы — цельного, единого, свободного — естественно-научного — и все же *идеалистического* миросозерцания.

Приложение А. Приложения к электронному изданию

Выходные данные

Титульная страница

А. Θ. КОТСЪ

НАУКА И МИРОВОЗЗРѢНІЕ

въ свѣтъ кризиса

ПЕРЕЖИВАЕМАГО ВРЕМЕНИ

Чистый сборъ с изданія предназначается на расширение
Музея Эволюціонной Исторіи
Московскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ

МОСКВА — 1915

Обратная сторона обложки

1586/3908

Типографія В. И. Воронова. Моховая, д. кн. Гагарина.

Оборот титульной страницы

ТОГО ЖЕ АВТОРА

Пути и цѣли Эволюціоннаго ученія въ отраженіи
Біологическихъ Музеевъ. Часть I. Цѣна 70 коп.

Этюды по Теоріи Эволюціи.

Выпускъ I. Ламаркъ и Дарвинъ, какъ историки
въ Естествознаніи. Цѣна 20 коп.

Выпускъ II. Рулье и Дарвинъ — двѣ характеристики.
Цѣна 25 коп.

Выпускъ III. Дарвинизмъ какъ мировоззреніе.
(Готовится къ печати)

Н. Н. ЛАДЫГИНА-КОТСЪ

У «мыслящихъ» лошадей. Личныя впечатлѣнія въ
бѣглом освѣщеніи исторіи вопроса.
Съ 3 таблицами и 6 рисунками въ текстѣ.
Цѣна 50 коп.

Въ отчизнѣ Даунскаго отшельника.
Съ 3 таблицами и 2 рисунками въ текстѣ.
Цѣна 40 коп.

Складъ изданія при Музеѣ Эволюціонной Исторіи
Московск. Высшихъ Женскихъ Курсовъ. Москва, Дѣвичье Поле.

Цѣна 45 коп.

Подготовка электронного издания

Посвящается дитя человека — Котс Рудольфу Александровичу

Организация: Котс Петр Рудольфович

2009

Опечатки, ошибки, исправления присылайте, пожалуйста, по адресу petya@kohts.ru